

МИХАИЛ ПОЛЯКОВ

Рассказы о России

СБОРНИК



Михаил Поляков
Рассказы о России

«Издательские решения»

Поляков М.

Рассказы о России / М. Поляков — «Издательские решения»,

В этот сборник входят как сложные психологические этюды, так и незамысловатые сатирические зарисовки. На его страницах читатель познакомится с самой разнообразной публикой — солидными чиновниками и бомжами, журналистами и проститутками, менеджерами и гастарбайтерами. Но все рассказы объединяет одна общая тема — они так или иначе характеризуют современную российскую действительность, смешную и страшную, гуманную и безжалостную одновременно.

Содержание

Оттепель	6
I	6
II	11
У воды	15
Конец ознакомительного фрагмента.	20

Рассказы о России
Сборник
Михаил Поляков

© Михаил Поляков, 2015

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero.ru

Оттепель

I

Она явилась неожиданно, как пророчество. В прошлом феврале ей исполнилось восемьдесят шесть, она была мала ростом, согбенна, седа, и смуглое её морщинистое лицо имело такое простодушно-испуганное выражение, словно она ожидала, что её вот-вот обругают или ударят.

Едва перешагнув порог квартиры, она прошла на кухню, уселась у окна, и так и провела весь день, устремив куда-то за горизонт свой чистый, прозрачный взгляд.

...За неделю до того Николаю позвонил отец.

– Помнишь свою двоюродную бабушку Марию? – спросил он.

– Которая в деревне живёт? – в ответ поинтересовался Николай, смутно припоминая что-то из раннего детства.

– Да, в Котловке. От тебя километров двести. Ты бы, Коль, съездил, забрал её оттуда. По осени дед Василий помер, и она, говорят, пригорюнилась совсем.

– Ну а мне-то она на кой сдалась? И времени нет сейчас возиться с ней, у меня два проекта висят, я целый день в разъездах. К тому же она старая, уход за ней, наверное, нужен.

– Да какой там уход! Деревенская старуха, ещё нас с тобой переживёт. Сама ещё за тобой ухаживать будет – ну там постирушками, уборкой, готовкой займётся. Хоть наведёт порядок в берлоге твоей холостяцкой. И потом в деревне дом у неё и земля, – заговорщически присо-вокупил отец. – Места хорошие, дачные. Уже приходили к ней из одной фирмы... Пустишь дело на самотёк, на раз-два отожмут собственность, а потом хоть всю жизнь судись с ними.

– Ну а сам-то ты что?

– У меня, знаешь, дела сейчас, – помялся отец.

Николай догадывался об этих делах. Три месяца назад, сразу после развода с матерью, отец начал встречаться со своей секретаршей Татьяной. Он нелепо стыдился этой поздней страсти, и был уверен вместе с тем, что сын осуждает его. Николаю было всё равно, но отца он не разубеждал.

– С Таней? – только спросил он.

– Да... В Тайланд поедem.

– Надолго?

– Да как получится... На месяц-другой.

– Ну ладно, заберу бабушку, – наконец согласился Николай, – А что детей-то у них с мужем не было?

– Да бесплодная она, в молодости переболела чем-то.

– Приёмных бы взяли.

– Приёмных дед Василий не хотел.

– Как же они жили?

– Ну как-как. Обычно жили, – не понял отец.

– Скучно же...

– Скучно – не скучно. Нормально, – взял деловую ноту отец. – Ты, главное, не забудь проследить за документами, чтобы она всё, до бумажки, с собой забрала. Да пусть оставит в сельсовете свои новые адрес и телефон.

Кляня отцовскую оборотистость, Иван отправился в деревню, и тем же вечером привёз бабушку Марию в свою просторную трёшку на Соколе. С ней прибыли два серых баула – всё нажитое, заработанное в деревне за шестьдесят лет. Николай заглянул в один из них – какие-то линялые тряпки, ржавые кастрюли, потускневший самовар с погнутой трубой, торчащей

кверху так вызывающе и залихватски, словно он приготовился обороняться ею ото всякого, кто дерзнул бы нарушить его заслуженный стариковский покой. Завязав баулы узлом, Николай вытащил их на балкон и небрежно затолкал в свободную нишу между старым торшером и комплектом зимней резины. Затем заглянул к бабке. Она всё также сидела, уставившись куда-то вдаль.

– Баб Маш, есть будешь? – бодро прикрикнул Николай. Старуха вздрогнула, оглянулась, скинула его непонимающим, бессмысленным взглядом, и снова повернулась к окну.

Он решил уже, что так и суждено ей просидеть остаток жизни на одном месте замшелой бездвижной колодой. Но на третий день она очнулась, и всё вокруг наполнила собой – своим торопливым, всегда куда-то спешащим шагом, своим тихим взором и внятным, воркующим говором, движениями своими – гладкими, скользящими. Обосновалась она на кухне. На плите завелась огромная жёлтая кастрюля, в которой денно и нощно бурлило что-то жирное, вязкое, на подоконнике сушились травы, распространявшие тяжёлый и острый как приворотное зелье дух, на холодильник и стол легли застиранные рушники – и обставленная глянцево-шведской мебелью кухня стала казаться тесной и мрачной, как чёрная изба. Николай нисколько не удивился бы, если где-нибудь за микроволновой печью вдруг шмыгнуло бы кудлатое и гибкое тельце домового.

Бабка была бережлива. Ела она быстро, сперва тщательно разрезая пищу на мелкие кусочки. Доев, аккуратно собирала ладонью со стола крошки, и отправляла их в рот. Воду из крана пускала тонкой струйкой, и по деревенской привычке никогда не тратила её сверх необходимости. И речь экономила – говорила медленно и внятно, смягчая согласные, избегая шипящих, так, словно опасалась пораниться резкими звуками. «Прибирайся», «умывайся», «готовись», – произносила она. Голос её был тих и не настойчив, и по тону ощущалось, что даже его бабка полагает чрезмерным, и при возможности она говорила бы ещё тише.

Бабка верила в Бога, верила истово, фанатично. Блюла посты, отмечала все церковные праздники, не ела масла в среду и пятницу. В углу её комнаты возник целый иконостас из старых, прокопчённых образов, с которых укоряюще смотрели длинные, пергаментно-жёлтые лики святых. Перед иконами по праздникам бабка ставила толстые самодельные свечи, вместе со старыми фотокарточками хранившиеся у неё в чёрной лакированной шкатулке с маленьким замочком. От этих свечей во всей квартире становилось душно, и так пахло палёным салом, что болела голова. Выходя из дому, она читала молитву, а если случалось по дороге миновать церковь, торопливо крестилась и глубоко, в пояс, кланялась, отчего Николаю всегда было неудобно перед прохожими.

Как вокруг зелёного побега, вставленного в воду, возле бабки завелась, закопошилась жизнь. С какими-то рецептами стала заходить прежде незнакомая Николаю соседка с первого этажа, маленькая сухая женщина с сальными волосами, стянутыми в крысиный хвостик. Несколько раз заглядывал неведомо откуда взявшийся краснолицый и меднобородый мужик, похожий на бурлака, с изъеденными оспой щеками, окающим выговором и широченными плечами. Бабка называла его страдальцем, каждый раз подолгу выслушивала и, провожая у входа, сочувственно покачивала головой, словно поражаясь тому, что один человек мог вынести те муки, что выпали на его долю. Николай же с подозрением поглядывал на обтрюханные одеяния «страдальца» и прятал от него серебряные ложки.

Вскоре бабка начала посещать церковь, и, видимо, быстро освоилась в тамошней общине. Её стали навещать прихожанки – древние, как она сама, старухи с измученными лицами, в тёмной, несвежей одежде. Как тени являлись они у входа, оставляли в коридоре неуклюжую свою растоптанную обувь, и мягким, неслышным шагом, скользили на кухню. Там подолгу, часами целыми, шептались. Николай, оказываясь рядом, улавливал безразличным слухом обрывки фраз. Беседы всё были скучные, чёрствые – о погоде, ценах, болезнях, постах. И говорили они буднично, монотонно, ни на чём особенно не задерживаясь, словно перебирали бусины на ста-

рых чётках. Когда Николаю случалось заходить на кухню, голоса как по команде смолкали, и старухи смотрели на него с таким восторгом, словно только что усердно нахваливали его друг дружке. Это ни капли ему не льстило, и, выходя от них, он каждый раз чувствовал желание надыхаться свежим воздухом, а после – много и быстро двигаться, освобождаясь от чего-то ветхого, липкого как паутина. Постепенно он начал различать бабкиных подруг. Все они были несчастны, нищи и одиноки, и у каждой, кроме того, имелось своё, особенное горе, чёрное и отчаянное, как вороново крыло. У одной сорок лет назад утонул в Ангаре муж с двумя маленькими детьми, у другой спился и умер сын, третья, со звучным именем Акулина, неизлечимо болела раком... Николай не сочувствовал им, их беды были так огромны и необычны, что в его молодой, двадцатипятилетней реальности им ещё не было единицы измерения, и они не могли приняться, укорениться в ней. Он только снисходительно думал иногда, что жил бы на месте старух иначе, и не допустил бы с собой подобного.

Бабка с утра до ночи, пока не готовила и не убиралась, смотрела телевизор и, очевидно, верила всему, что там говорилось. Путин, бандеровцы и национал-предатели прочно вошли в её скудный, полвека не менявшийся лексикон.

– Что ж творится, Хос-споди! Расстреляли эти нехристи деревеньку под Донецком, – как все старики сбавляя, лаская слова, докладывала она как-то вечером, вышивая на больших деревянных пяльцах. – Детский садик взорвали, деток малых не пожалели, а мальчишек сколько погибло, ополченцев-то!

– Да какие там ополченцы... Неадекваты одни да проходимцы, – равнодушно отмахнулся Николай.

– Каки же они проходимцы, Коленька? – изумилась бабка, отпуская пяльцы и молитвенно сжимая тонкие свои, с синими нитями вен, ручки перед грудью. – За свою же землю сражаются! А их фашисты, каратели убивают. Не ругать бы их, а помочь им!

– Ты, бабка, о себе лучше подумай. Цены-то заметила как выросли? Есть вам, старикам, нечего скоро будет, а ты всё чушь какую-то пропагандистскую повторяешь.

– А-а-х, – робко вздохнула бабка, – И не такое терпели. Знаешь, каково в войну было? Лебеду и жмых подсолнечный кушали, чай из листиков берёзовых заваривали. Мамка мне обувку из свиной кожи шила. Чуть забегайся, по луже аль по росе пройдёшься, так кожа-то и разлезалась. Босая, почитай, ходила. Тогда пережили, и нынче выдюжим, нешто своих бросим?

– Да какие они тебе свои?

– Как же не свои? Свои, русские, православные, – убеждённо заявила бабка.

– Ну свои и свои, чёрт с ними, – уже начиная раздражаться, заговорил Николай, барабаня пальцами по крышке стола. – Ты мне вот что лучше скажи: вот я не православный, не верующий даже, мне-то зачем все эти прелести терпеть? – Бабка открыла было рот, чтобы ответить, но он продолжал, возвысив голос, обращаясь уже не столько к ней, сколько к собственным мыслям: – Вообще, можете вы все с этим вашим русским миром оставить нас, цивилизованных людей, в покое? Дайте нам пожить нормально, а? Не нужно нам ни общинности вашей, ни щей кислых, ни пьянства вашего поголовного, ни свадеб с мордобоями, ни пузатых чиновников, ни Христа вашего!

– Как же Христа не нужно? Ну а вместо Христа – кто? – изумлённо всплеснула руками бабка.

– Вот обязательно тебе нужен кто-то сверху. Чтобы там, – Николай медленным, вкрадчивым жестом указал на потолок, – сидел кто-то значительный – не важно кто – генсек, президент, Бог, и всё за тебя решал. Так и жили вы всегда – подчинялись да от страха дрожали – как бы не вышло чего. А я вот не хочу такого!

– А чего же ты хочешь? – спросила бабка, не сводя с него внимательного взгляда своих бесцветных, лишённых ресниц глаз. За всю беседу она, кажется, ни разу не моргнула.

– Не вот этого вашего чёрного и забитого, – крикнул Николай, ткнув пальцем в угол с иконами, и, испуганная резкостью жеста, бабка вздрогнула и икнула даже. – Хочу нормальной жизни в своей стране. Чтобы во властных кабинетах сидели деловые, умные люди, а не казнокрады с крысиными глазками, чтобы суды были честны, а полицейские следовали закону, а не понятиям. Чтобы бюджетные средства шли на дело, а не пилились между своими или разбазаривались на нелепые и никому не нужные мега-проекты. Чтобы каждый отвечал за свои слова и мог честно зарабатывать собственным трудом. Чтобы уважались свобода слова, частная собственность, права человека и, чёрт возьми, банальное моё личное пространство! Справедливости я хочу, понимаешь ты это?

Бабка долго, в полном безмолвии, пристально смотрела на Николая. Пауза длилась столько, что ему, наконец, стало неловко. Но когда он уже поднялся, чтобы уйти, она вдруг заговорила.

– От... от сытости ты, Коленька, справедливость ищешь, – произнесла она, выводя слова так тонко и обрывисто, словно аккуратно дула в детский свисток. – Рази бываить так? Чтоб её найти, справедливость-то, надо на твёрдом спать, чёрствое исть... А сытого бес водит.

– Да, вот это по-нашему, по-русски, – злорадно согласился Николай, снова садясь и резко придвигаясь к столу. – Счастье и не счастье у нас, если не куплено страданием. Обязательно надо нам бичевать себя, мучиться, вериги пудовые таскать. То, что в Европе получено спокойно, через поступательный, упорный труд, у нас всегда достигается порывом, кровью и какими-то невероятными зверствами. И всё равно выходит хуже, чем там. Не пора ли уже успокоиться, перестать воевать и с собой, и со всем миром, и начать жить нормальной, человеческой жизнью?

Он долго говорил ещё – о Навальном, олигархах и коррупции, об европейском пути и демократических ценностях, и старуха слушала его, наклонив голову набок и удивлённо округлив глаза. Но он чувствовал с досадой, что правильным его словам в патриархальном быту старухи не найдётся места, как не нашлось бы места в её деревенской избе многодужимовой плазменной панели. Её же фразы отчего-то не падали мимо сердца, а задевали за что-то живое, воспалённое, и долго ещё после трепыхались в мягких душевных глубинах, которых Николай прежде не знал у себя. От её рассуждений становилось уютно, спокойно, и спокойствие это ощущалось физически, к нему хотелось прислониться, щупать его, чувствуя надёжное, крепкое. И Николай щупал: недоверчиво, брезгливо прикасался тревожной мыслью, словно пробовал языком шаткий зуб.

«Заразительная же штука – эта их общинность. Гляди-ка, и меня прихватила, – с досадой размышлял он после таких разговоров. – Привыкли к рабству, устроились в нём, и так и живут столетиями... как мыши в сыром подвале».

Он оглядывался на старуху, и она, подвижная, деловитая, в извечном своём сером балахоне, действительно напоминала ему большую мышь...

Жизнь вместе с тем изменилась, и перемены эти не нравились Николаю. Друзей, прежде часто бывавших в его холостяцкой квартире, он приглашать перестал – бабка смущала их своими наивными расспросами и ненужным, избыточным гостеприимством. Выпроводить её было некуда, а когда она находилась в соседней комнате, её присутствие всё же ощущалось, и от этого всем было скучно и неловко. Теперь, если после пятничного боулинга или концерта в клубе кто-нибудь по старинке предлагал поехать к Николаю домой, тот отказывался.

– У меня бабка же, – смущённо объяснял он. – Лапти, валенки, русский мир, вот это всё.

– Рюзке мир, – привычно коверкал собеседник, понимающе качая головой. И тут же бодро интересовался: – А горилку хоть держит?

– И горилку не одобряет, – искренне сожалел Николай.

Бабкину стряпню – густые супы с терпкими и горькими травами, каши с кусочками чего-то зелёного и красного, он есть брезговал, и перед уходом с работы ужинал в кафе бизнес-цен-

тра. Бабка ничего не понимала и изумлялась. «Как же так, приедет, ничего не поест, и спать идёшь. Чаю если попьёшь – и то хорошо», – жаловалась она после товаркам на кухне. Те сочувственно поддакивали, а, встретив Николая, жалостно глядели на него и укоряюще качали головами.

К тому же бабка болела. По ночам она дышала так громко и тяжело, что слышно было через три стены, и казалось, каждый новый вздох даётся ей с огромным трудом. Иногда она не поднималась с постели до обеда, а то и целый день лежала, укрывшись одеялом с головой и глухо охая под ним. Случалось, на улице она забывала, где находится, и домой её приводили соседи. Сидя на работе, Николай всё время боялся, что бабка оставит без присмотра включённую плиту и устроит пожар. Он даже купил ей специальный мобильный телефон для стариков с большими кнопками, и показал, как пользоваться им, но она так и не привыкла к аппарату. Однажды ночью Николай проснулся от грохота на кухне. Войдя туда, он обнаружил бабку в одном халате, простоволосую и босую, стоящей в центре комнаты, среди опрокинутых кастрюль и осколков посуды. Она с тупым выражением смотрела в стену, по ногам её стекало жёлтое...

– Что случилось? – встревоженно спросил Николай.

Бабка вздрогнула, очнулась, и взгляд её стал беспомощно-виноватым.

– Я... посуду помыть хотела, – произнесла она таким тоном, будто сама удивлялась происшедшему. И нерешительно развела руками. – И вот упало всё...

Не сказав ни слова, Николай крепко взял её за руку и повёл в ванную. Резкими, брезгливыми движениями разоблачил, поставил под душ и сразу включил сильную струю. Старуха мелко, всем телом затряслась, почувствовав воду, и снова подняла на него свой виноватый взгляд. Ему вдруг стало очень стыдно за себя, и вместе с тем он отчётливо ощутил, что не может больше, физически не способен выносить такую жизнь.

Пока старуха мылась, он достал телефон и набрал номер отца.

– Пап, не могу я больше с бабкой, – начал он без предисловий, едва отец поднял трубку. – В дом престарелых её надо, или ещё куда. Достала меня совсем,

– Ну ладно, не кипятись, я на следующей неделе прилечу и разберусь там со всем, – ответил отец. – Потерпи ещё немного.

II

На следующей неделе отец не приехал и даже не позвонил, но Николаю теперь было не до того. Внезапно выяснилось, что рекламный проект, которым он руководил, необходимо сдать на две недели раньше срока. Все серьёзные, сложные задачи он решил быстро. За неделю была организована работа дизайнеров, арендованы выставочные конструкции, и окончательно согласован проект с заказчиком. Но каждый день возникало множество мелких, внешне незначительных дел, отнимавших, однако, массу времени. То у бухгалтерии заказчика появлялись дополнительные вопросы по смете, то в типографии не было бумаги подходящего формата, то увольнялся верстальщик, и после него невозможно было найти нужные файлы... Николай с утра до ночи мотался по Москве – пожимал руки, безэмоционально улыбался, энергично рассказывал что-то в тёмных конференц-залах, освещённых жёлтым лучом проектора. Домой он всегда возвращался раздражённый, усталый, с гнетущим ощущением того, что сегодня снова не сделано то, что нужно. Больше всего хлопот было с установкой макета самолёта, который символизировал бренд заказчика, в торговом центре «Белая дача». После того, как были арендованы нужные площади и получены все разрешения, в дело вмешался инспектор пожарной охраны, маленький, чернявый сорокалетний человек в рыжем чесучовом пиджаке, придававшим ему несколько старомодный вид. Он исчеркал карандашом ватман с изображением макета, и своим едва разборчивым, некрасивым почерком набросал на полях его множество замечаний. Состояли они сплошь из придирок и глупостей, но переубедить инспектора не удавалось. Когда Николай заговаривал с ним, тот кривился так, словно у него болели зубы, и, глядя в сторону, гнусавым и монотонным голосом повторял одну за другой свои претензии. Николай чувствовал, что в этой своей дурной, тяжеловесной манере инспектор намекает на взятку, и, каждый раз уходя от него, бесился.

Однажды работа над макетом особенно затянулась, и Николай выехал с «Белой дачи» около восьми часов. До дома легче всего было добраться по МКАДу, так удавалось избежать больших пробок. Но Николай смертельно устал, и рискнул поехать по прямой, через Волгоградское шоссе. Дорога оказалась непривычно свободна, и три или четыре километра он пролетел за считанные минуты. Но перед самым въездом на третье кольцо он услышал под колёсами хлопок, и вслед за тем почувствовал, что автомобиль кренится на сторону. Ещё мгновение – и машина слетела с дороги и понеслась по обочине, с сухим хрустом ломая грязную наледь. Николай начал уже осторожно, не давя, скидывать скорость, вместе с тем непослушными пальцами отыскивая на стойке позади себя карабин ремня безопасности, когда послышался удар. Гулко ухнуло и осыпалось в салон лобовое стекло, и какая-то беспощадная, злая сила выбросила Николая наружу, в снег, в грязь. Последнее, что он увидел перед тем, как взгляд заслонила чёрная пелена – автомобиль, стоящий у обочины, с раздавленным дымящимся капотом. Левая дверь, распахнувшаяся от удара, безвольно покачивалась, словно сбитая птица взмахивала подраненным крылом...

Следом была пронзительная белизна палаты, чьи-то серьёзные, густые голоса, неумолимо-твёрдые руки, и – вкус чего-то горького и вязущего на губах. Он не знал, сколько провёл в этом безмысленном, животном полубытии. Ему казалось, что недели, месяцы, годы целые пронесли над ним, а он всё также лежал больной и онемелый, и всё глядел, глядел на что-то белое и синее. Первым новым впечатлением было бритое, круглое лицо доктора, склонившегося над ним.

– Очнулись? – улыбнулся доктор. – Долго жить будете.

– Что со мной? – спросил Николай, делая усилие, чтобы поднять голову над подушкой.

– Лежите, лежите, – коротким жестом остановил его доктор. – Ничего страшного не случилось. Сотрясение мозга, ногу сломали, да крови чуточку потеряли. До свадьбы заживёт. Отдыхайте.

Днём, когда Николай окончательно пришёл в сознание, явилась медсестра, маленькая, аккуратная, подчёркнуто строгая, очень похожая на школьную учительницу из тех, кого боятся и не любят дети.

– Вам насчёт лекарств Фёдор Емельянович сказал? – серьёзно спросила она, держа руки в карманах халата.

– Нет, не сказал, – слабо выговорил Николай.

– Дело в том, что у нас не все препараты в наличии, и вам надо будет самостоятельно кое-что докупить. Вот список необходимого, – она достала рецепт и подала его Николаю. – Попросите, пожалуйста, родных, пусть привезут.

Николай молча кивнул, принял от неё листок, и положил его в тумбочку у кровати.

Вечером приехали коллеги с работы – Кон и Битюгов. Покачав сочувственно головами, пожелали скорейшего выздоровления и удалились, оставив на тумбочке сетку апельсинов. После них в палату торопливым, шаркающим шагом, вошла бабка. Вид она имела смятенный и потерянный, и чувствовалось, что обстановка больницы с её длинными коридорами, хлопающими дверьми, спешащими куда-то медиками и густо разлитым в воздухе запахом лекарств, пугает её. Николай опасался, что увидев его в бинтах, с гипсом на ноге, бабка не выдержит, и выкинет что-нибудь эксцентричное, по-деревенски бесшабашное – например, упадёт на колени и завоет в голос, или примется как-нибудь преувеличенно и нелепо унижаться перед персоналом. Но она только подошла к койке, и села на табурет у изголовья.

– Здравствуй, Коленька, – тихо произнесла она, поглаживая его плечо своей тонкой, невесомой ручкой. – Как чувствуешь себя, мальчик?

– Нормально, – безразлично ответил Николай и шевельнулся, увиливая от её ласки. Это вышло как-то слишком резко, и чтобы загладить неловкость, он прибавил уже мягче: – Не беспокойся, скоро поправлюсь.

Старуха с минуту смотрела на него напряжённым взглядом, словно готовилась задать какой-то ещё, очень волнующий её вопрос. Она даже побледнела от волнения, но спросить всё-таки не решилась, и вдруг засуетилась.

– Ой, Коленька, а я же тебе гостинцы принесла! – произнесла она, роясь в своей большой хозяйственной сумке, похожей на мешок. – Яблочек купила, бананов. Холодчика наварила, – сказала она, за ручки с трудом вынимая из сумки облупленную жёлтую кастрюлю. – Индюшачий, очень вкусный. Ты попробуй! С хреном вот, – прибавила она, выкладывая на тумбочку зелёный тубик.

– Нет, не хочу, – равнодушно отказался Николай. – Ты, бабка, дома бы лучше сидела, чего тебе тут делать? Меня выпишут скоро.

– А когда? – поинтересовалась она, доставая пакеты с фруктами.

– Да через две недели самое большее.

Но двумя неделями не ограничилось. Сначала появились проблемы с анализами, затем рентген показал, что кость срастается неровно, и начались новые осмотры и процедуры. Потянулись дни – скучные, однообразные, серые, как мешковина. Ещё два заходили знакомые и коллеги, для разбора аварии являлся полицейский инспектор, а после него – страховой агент, принесший Николаю на подпись целую пачку документов. Николай ждал отца, но тот всё не давал о себе знать, видимо, его тайское турне затягивалось. Наконец, посещения прекратились. Не отставала только бабка. Она приходила ежедневно, ровно в одиннадцать утра, и сразу решительно усаживалась на табурет у изголовья, точно принимала пост. Говорить с ней было не о чем, и Николай только машинально отвечал на её вопросы, которые всегда были одни и те же – не болит ли нога, хорошо ли кормят, не грубят ли врачи. Гостинцами же её –

фруктами и неизменным холодцом, он брезговал. Холодец каждый раз велел нести обратно, а фрукты, как только старуха уходила, раздавал соседям по палате. Ему даже стыдно было за эти фрукты. Бабка покупала всё самое дешёвое и лежалое – потемневшие, в чёрных точках бананы, подгнившие яблоки и груши – видимо, сказывалась стариковская привычка экономить. «Одна живёт, могла бы и не скарденничать», – зло думал Николай.

Как-то в коридоре, в очереди на процедуры, к нему подошла медсестра и спросила насчёт лекарств, которые надо было заказать у родных. Говорила она холодно и требовательно, и её тон смутил Николая. Вечером он попросил смартфон у соседа по палате, толстого бородатого кавказца, и заглянул в интернет. Большинство медикаментов из списка стоили недорого, но два или три наименования тянули вместе почти на десять тысяч рублей. Это напугало Николая. Он начал действовать, но безуспешно. Деньги и кредитные карты пропали в аварии, и о скором восстановлении их нечего было и думать. Отцу он дозвониться не смог, и только послал ему подробное сообщение с рассказом о ситуации. В Москве у Николая имелось множество друзей и знакомых, но телефонов одних он не помнил наизусть, те же, кому позвонил, как назло или сами сидели без денег, или были в отъезде. Последним Николай набрал своего шефа с работы, Рыболовлева. Тот долго мялся, увиливал, и, наконец, пустился в путаные и длинные объяснения, из которых следовало, что рынок замер, заказов стало мало, и лишних денег в кассе фирмы нет. «Но если тебе действительно нужно, я одолжу из своих», – прибавил он таким серьёзным и торжественным тоном, словно речь шла об огромной жертве. Николай сдержанно отказался и положил трубку. Оставалось одно – ждать, пока отец узнает об аварии и вернётся в Москву.

Целыми днями Николай лежал на кровати, тосковал и смотрел на улицу. Окна в палате выходили в густой парк, где росли старые, корявые осины и дул пронзительный ветер. Был уже март, но деревья в парке скрипели сухо, безнадёжно, по-зимнему, и казалось, что никогда больше не будет тепла и солнца, а будут только морозы, снега, ледяные вихри, и эта отчаянная серая тоска. Николай пробовал развлекать себя, вспоминая забавные случаи из прошлого и строя планы на будущее, но эти мысли как-то не приживались у него, они казались лишними в этих серых стенах, среди чужих равнодушных людей. Хорошо тут получалось только считать обиды и ненавидеть. И Николай ненавидел. Он ненавидел отца за то, что тот развёлся с матерью и завёл любовницу, ненавидел Рыболовлева за то, что тот не помог ему в беде, ненавидел себя за то, что так неосторожно, беспечно жил. Но главное, он ненавидел бабку. Она, навязчивая, архаичная, косная, олицетворяла для него всё то, что он презирал всю свою взрослую жизнь, то, что одним фактом своего существования всегда стесняло и ущемляло его. Её вид раздражал Николая, и всякий раз, как она приходила, он старался поскорее отделаться от неё.

– Баб Маш, у меня тут всё хорошо, шла бы ты домой, а? – умолял он, комкая край простыни. – Я тут и без тебя нормально справлюсь.

Если он слишком уж настаивал, она уходила, но на другой день возвращалась снова со своими расспросами, фруктами и холодцом.

Однажды он забрал у неё этот злосчастный холодец, после её ухода доковылял до туалета, и, зло стуча ложкой по стенкам кастрюли, вывалил студенистую массу в унитаз. Затем, глядя в сторону и кривясь от отвращения, спустил воду. Вернулся в палату довольный и умиротворённый, словно совершил хороший, честный поступок.

Порой он даже думал, что бабка не понимает его слов и уговоров, что она не в себе, как в тот раз, на кухне. В самом деле, в последнее время она похудела, осунулась, и при взгляде на неё Николаю вспоминалась старая собака, которую он как-то в детстве увидел на улице под дождём, пожалел и, к ужасу родителей, привёл домой...

Часто по ночам Николай не спал, и прислушивался к происходящему в коридоре. Дежурное помещение находилось по соседству с его палатой, и сквозь стену было слышно как медсёстры пьют чай, ругаются и обсуждают последние новости. Он уже знал, сколько получает тот или иной врач, у кого в отделении с кем роман, кто выпивает на дежурствах... Всё это

усугубляло его тоску, и ему казалось, что медики ходят на работу не для того, чтобы лечить людей, а чтобы сплетничать, развратничать в ординаторской, пьянствовать и вымогать у больных деньги.

Как-то сквозь дремоту он расслышал в беседе своё имя.

– А Семёнова из третьей палаты ты зачем на семичасовые уколы включила? – удивлённо спрашивала сестра, видимо, составлявшая график. – У нас же нет ничего из того, что Савиков ему назначил. Грибова что ли с девятки привезла?

– Да нет, ему лекарства родственники передали.

– А, родственники... – понимающе протянул голос.

«Отец приехал! – догадался Николай. – Скоро сам придёт. Наконец-то...»

Но отец так и не появился. Наверное, сообщение он всё-таки получил, но почему-то не смог выбраться сам, и передал деньги через кого-то из знакомых...

...Выписали Николая через месяц, в начале апреля. Забирать его приехала бабка. Спустившись в регистратуру, Николай сам себя не узнал в зеркале – он оброс, одряб, иссох, и видом своим напоминал матроса, недавно спасённого с необитаемого острова. От долгой привычки к постели и костылю шагал он неуверенно, припадая на больную ногу, и бабка то и дело поддерживала его, подставляя своё острое костлявое плечо.

После окончания всех бумажных формальностей, они через приёмное отделение направились к выходу. Но в холле их остановили.

– Подождите, подождите секунду, – послышался сзади резкий голос, и, оглянувшись, Николай увидел Светлану, медсестру того отделения, где он лежал, коротко стриженую женщину с жёлтым брюзгливым лицом. Мелким шагом, звонко раздающимся в коридоре, она приблизилась к ним и, к удивлению Николая, обратилась к бабке.

– Мария Ефимовна, ну почему мне бегать за вами приходится? – с досадой сказала она. – Я же просила перед выпиской заглянуть ко мне. Медикаменты-то заберите. Режим приёма знаете?

– Знаю, – кротко кивнула бабка.

– Ну всё тогда, – сказала сестра, и, подав бабке бумажный свёрток, перетянутый резинкой, удалилась.

– Это что? – удивился Николай.

– А это лечить тебя, доктора просили, вот я и купила, – просто ответила бабка, укладывая свёрток в сумку.

Наблюдая за быстрыми движениями её рук, Николай напряжённо размышлял. Кажется, ничто в жизни не поражало его так, как эта секундная беседа. И чем больше он думал о ней, тем сильнее стучало сердце, и тем теснее и теплее становилось в груди.

«Значит, это она приносила лекарства. Но как? Ампулы эти стоили девять тысяч. – растерянно подсчитывал он про себя. – Сбережений у бабки, кажется, не было. Пенсия у неё чуть меньше десяти тысяч. Получается, она целый месяц жила на тысячу?»

Он вспомнил бабкину худобу, вспомнил фрукты, которые она приносила, холодец, этот её несчастный... Подбородок у него задрожал и к горлу подступили слёзы. Он порывисто обнял бабку и поцеловал её в щёку. Она ответила ему робким, удивлённым взглядом, не поняв причины этой нежности, и оттого стала ещё ближе, родней.

Они вышли из больницы. На улице стояла оттепель. Прежде, лёжа в палате, Николай не чувствовал весну, и теперь, когда он оказался на свежем воздухе и ощутил тепло и запах талого снега, голова у него закружилась и на душе стало легко и радостно. Ему захотелось много, с упоением мечтать и верить во что-нибудь светлое, вечное... В прозрачном воздухе звенели птичьи трели, на осевшие сугробы ложились мягкие весенние тени, и солнце на небе было таким же огромным и горячим, как сердце.

У ВОДЫ

От пощёчины щека горит как обожжённая. Елена поспешно спускается по лестнице, резко толкает тяжёлую металлическую дверь подъезда и выходит на улицу. Стоят серые и мокрые сентябрьские сумерки. По земле клочьями стелется вечерний туман, и под его бледным покровом тускло, словно бронза, блестят лужи, отражая изжелта-серый свет фонарей. Стараясь ступать по сухому, Елена пересекает дорогу, и, миновав переулок, выходит на соседнюю улицу, ведущую к метро. Улица эта не освещена и безлюдна, и шаги Елены звучат гулко, тревожно. Сама того не замечая, она идёт всё быстрее, безотчётно спеша скрыться от оскорбления, ядовитой лиловой тучей висящего над ней.

Этим вечером Сошников впервые ударил её. Он снова вернулся домой пьяный, и Елена, помогая ему раздеваться, упрекнула его. Он обернулся, взглянул на неё налитым кровью бычьим взглядом, и с размаху отвесил пощёчину. Сделал он это лениво и небрежно, словно отгоняя надоедливую муху, и Елена в первое мгновение была так потрясена, что не смогла произнести ни слова. Она только стояла и глядела перед собой, чувствуя, как нервно дёргается у неё нижняя губа. Она давно, ещё за несколько месяцев предчувствовала этот удар, но никак не ожидала, что всё случится так глупо, нелепо, прозаично. Она думала, что когда Валера ударит её, то она устроит скандал, заставит его извиняться и умолять о прощении, сделает из этого целое событие, после чего он никогда больше не посмеет поднять на неё руку. Но уже начав говорить, она глянула на себя в зеркало прихожей, и испугалась. С потёкшей тушью, в растянутой кофте, она показалась себе отталкивающей, старой, уродливой. Ей вдруг стало страшно, что вместо всего того, что она насочиняла себе, Сошников просто равнодушно пошлёт её к чёрту и выгонит из дома. Она замолчала, выскользнула в коридор, накинула на плечи куртку и отправилась на улицу.

Миновав два квартала, она оказывается в большом освещённом парке и быстро шагает по пронзительно скрипящей гальке дорожки. В неровном свете фонарей её тень то увеличивается, то сжимается, то крадётся сбоку, то отчётливо вырисовывается спереди, и Елене кажется, что рядом с ней идёт кто-то сердитый, беспокойный, и ждёт случая, чтобы подкрасться сзади, наклониться к уху и начать упрекать её в чём-нибудь порывистым злым шёпотом. После парка снова начинаются тёмные дома, а затем – усыпанная листвой аллея с обшарпанными, неудобными скамейками, на которых собрались мелкие грязные лужицы. Наконец показывается подземный переход, ведущий к метро. В нём нет света, и осторожно спускаясь по ступенькам в густую как чернила тьму, Елена инстинктивно задерживает дыхание, словно готовясь нырнуть в воду. Пройдя насквозь страшный, длинный коридор, в котором пахнет мочой и со всех сторон слышатся приглушённые гортанные звуки, она толкает стеклянную дверь, и оказывается в залитом ярким жёлтым светом вестибюле станции. Взяв в кассе билет, идёт ко входу, но останавливается, привлечённая скандальной сценой у турникетов. Молодой человек лет двадцати, в спортивном латексном костюме, пытается пройти в метро с велосипедом, вахтёрша же не пускает его. По спорщикам видно, что все слова – и заискивающие, и грубые, между ними давно сказаны, что разговоры эти ни к чему не привели, и теперь конфликт иначе как силой решить уже нельзя. Навалившись всем телом на руль, молодой человек упрямо толкает велосипед вперёд, в узкий проход между будкой дежурной и мраморной колонной. На его лице, покрытом красными пятнами, застыло зверское выражение, на гладком потном лбу набухла синяя, толстая как шнур вена. Вахтёрша же, грузная женщина с помятым лицом, безо всякого, очевидно, труда удерживает велосипед за колесо, и по её равнодушному виду и вялым, рассеянными движениями ясно, что подобные случаи для неё вполне обыденны и не доставляют ей никакого неудобства.

Елена с минуту внимательно наблюдает за этой сценой, слабо, болезненно улыбаясь. И вдруг, безо всякой связи с происходящим, думает: «И что – он теперь каждый день меня бить будет?» От этой мысли по спине её бегут мурашки, и становится так холодно и противно, словно она прикоснулась к лягушке. Но через мгновение она приходит в себя, собирается, и, напрягая мышцы ног, преувеличенно бодрым, почти солдатским шагом идёт к эскалатору. В вагоне она садится на свободное место у двери и, закрыв глаза, прислушивается к глухому стуку колёс. Мысли её постепенно подлаживаются под этот стук, становятся тише, спокойнее, размереннее...

– Уйти, бросить, скандал устроить, пусть один там живёт, в полицию заявление, – перебирает она про себя первые приходящие на ум фразы, отыскивая среди них ту, с которой удобно было бы начать размышления.

– Пятнадцать, – наконец, находит она, – пятнадцать лет...

Да, уже пятнадцать лет она живёт в Москве. Странно как-то теперь вспоминать себя молодой и думать о том, каким ясным и определённым казалось тогда будущее. Только приехав в город и ещё не подав документы в институт, она уже знала, как сложится её жизнь. После окончания учёбы она получит работу в крупной компании, скорее всего – в западной. Там её сразу заметят и назначат на ответственный пост. Начнётся красивая, интересная жизнь с заграничными поездками, дорогими бутиками, ночными клубами. Если же карьера почему-нибудь не заладится, то всегда можно удачно выйти замуж. В огромной Москве ей обязательно встретится милый, симпатичный и состоятельный юноша, который влюбится в неё без памяти. И она будет жить в пригороде, в коттедже на берегу озера, возить детей в школу на «Вольво», а после – ходить по магазинам и на занятия каким-нибудь фитнесом или йогой. Знать бы тогда, как всё сложится на самом деле... Блестящая карьера ограничилась должностью экономиста в небольшой торговой фирме с зарплатой в 45 тысяч и безо всяких надежд на служебный рост. Да с её образованием и не могло быть иначе. Родительских сбережений вместе с её небольшими и непостоянными московскими доходами не хватило на обучение в серьёзном, престижном вузе. Елена поступила на экономический факультет небольшого подмосковного Университета экономики туризма. Такие вузы на языке работодателей называются пустышками или гнилушками. Модные экономические и юридические кафедры там только для заработка, реальных же, практических знаний они не дают. Елену, впрочем, мало беспокоили эти подробности – нужно только закрепиться в столице, а успех придёт сам собой... Реальность напомнила о себе, когда она попробовала устроиться на работу по специальности. Ни в одной крупной фирме, куда она послала резюме, ей даже не ответили, а когда она после звонила туда, то с ней говорили пренебрежительно, сквозь зубы. После трёх месяцев обивания порогов и унижений она, наконец, получила должность бухгалтера в небольшой фирме, торгующей продукцией подмосковного сталепрокатного завода. Зарплата оказалась намного ниже, а работа – сложнее, чем она рассчитывала. В институте Елену научили объяснять кривую Хикса, использовать SWOT-данные и анализировать модель IS-LM, но всё это оказалось совершенно бесполезно в жизни. Начав работать, она пасовала перед самыми простыми задачами – не имела понятия о том, чем отличается ПБОЮЛ от ИП и как оформлять отчисления в пенсионный фонд, не знала как пользоваться налоговым законодательством, не могла составить даже простейшую ведомость на зарплату. Всему этому пришлось учиться по ходу дела, и было это трудно, долго, унижительно. Но даже теперь, после семи лет работы, у неё не было никаких систематических, универсальных знаний, и перейди она в другую компанию, ей пришлось бы заново и также мучительно подстраиваться под новые условия. Конечно, всегда можно снова пойти учиться, но выйдет ли из этого толк? На это она могла решиться лет десять назад, но теперь она уже знала себя, знала, что она не энергичная, не коммуникабельная, не имеет особых талантов, и вряд ли сможет добиться больших успехов.

А любовь... Много её было в жизни, особенно в ранней розовой молодости, когда отношения заводились так просто и были так легки и воздушны... Но всё это давно в прошлом, и вспоминая теперь то время, Елена уже не различает бывших с ней мужчин, не помнит их лиц, глаз, голосов. В её воображении они давно стали неким собирательным образом, в котором преобладает нечто животное, грязное, постылое, и который до раздражения неприятен ей. Живя с Сошниковым, Елена ни разу не задавалась вопросом о том, любит ли она его. Вообще подобные мысли, по её мнению, могут занимать только наивных юных девочек. Сама она давно перестала искать в отношениях с мужчинами какую-либо романтику. Они представляются ей запутанным клубком противоречивых выводов, взглядов и ощущений, в котором, несмотря на бесчисленное множество психологических вариаций, всё понятно, рутинно, и уже не может быть для неё ничего нового и волнующего.

Сошникову, с которым она начала встречаться около двух лет назад, немного за сорок. В его внешности как-то особенно настойчиво обозначилось отсутствие породы, так что при взгляде на него на ум невольно приходит сравнение с дворнягой. Грудь у него впалая как у дистрофика, руки непропорционально длинны и усеяны чёрным и жёстким как щетина волосом, а тонкие ноги с крупными и круглыми коленями, вогнуты вовнутрь, образуя букву «Х». Карие глаза на сером, словно посыпанном пеплом лице блестят по-совиному, и все движения у него тоже совиные – резкие, угловатые, внезапные. Он, должно быть, компенсирует свою внешнюю непривлекательность этой резкостью, подобно тому как некоторые низкорослые люди тянут носок при ходьбе, чтобы казаться выше. Ему очень хочется выглядеть сильным и самоуверенным, но в манерах его нет вальяжности и простоты, свойственных по-настоящему сильным людям, а есть что-то нервное, воспалённое и нахохленное, словно он боится, что его вот-вот ударят или оскорбят. Глядя на Сошникова, Елена в самом деле часто представляет себе, как его оскорбляет кто-то важный, значительный, причём делает это как-то походя и без особой причины, а он в ответ кричит что-то писклявым голосом, машет руками, бежит следом за обидчиком...

Особенно ей противно его притворство. Сошников постоянно врёт друзьям о своей состоятельности, и врёт как-то нелепо, бестолково. Например, сообщает, что собирается купить костюм от «Бриони» или новый «Мерседес», что смешно при его зарплате инженера в маленьком подмосковном НИИ. Он прекрасно разбирается в дорогих хронометрах и автомобилях, даже в коллекциях модной мужской одежды, и в компании может часами с настоящим, искренним вдохновением, какое бывает только у молодых актёров, недавно добившихся первого успеха, говорить о них. Слушая его, Елена часто вспоминает известную фразу о том, что лучше всего выдаёт принадлежность человека к низшему сословию умение разбираться в предметах роскоши, и всегда краснеет при этой мысли – ей кажется, что это вместе с ней думает каждый. Если у Сошникова заводятся лишние деньги, он приобретает безделушки люксовых брендов, таких как «Дюпон», «Монблан» или «Картье». Купив дорогую вещь – какую-нибудь зажигалку, брелок или бумажник (на что-то подороже, вроде часов или пальто у него уже не хватает денег), он обращается с ней благоговейно – хранит в заводской упаковке, кладёт во время обеда рядом с собой на стол, и если даёт кому-нибудь посмотреть, то рефлекторно протягивает следом руки, и пристальным, немигающим взглядом следит за ней. Однажды он вдрызг разругался со своим знакомым из-за того, что тот сорвал с лакированной зажигалки упаковочную пластиковую плёнку.

К такому человеку не может привязаться нормальная, здоровая женщина, не может желать разделить с ним судьбу. Но без Сошникова Елене было бы сложно. У него по крайней мере есть жильё. Это обычная трёшка в хрущёвке, тесная, неказистая и с такой запутанной планировкой, что, несмотря на её крошечные размеры, каждый новый гость теряется в ней и долго ходит по комнатам, беззвучно ругаясь и нервно задевая плечами дверные косяки. Она обставлена старой, ещё советской мебелью казённого жёлтого цвета, в ней сыро и пахнет под-

валом, а если дети из квартиры сверху расшались, то дрожит потолок, люстра, мелко позвякивая стекляшками, качается как от ветра, и по стенам шарахаются кривые бледные тени. Но дом находится недалеко от центра, и путь до работы у Елены занимает всего двадцать минут. Если она разойдётся с Сошниковым, ей придётся перебраться в лучшем случае в грязное, крикливое общежитие на дальней окраине Москвы, а в худшем – снимать жильё где-нибудь во Фрязино. Тогда на дорогу станет уходить часа два, каждое утро надо будет брать приступом электричку, а после – давиться в вагоне метро, и являться в офис растрёпанной, уставшей. Кроме того, Сошников даёт ей деньги, пусть и небольшие – по десять-пятнадцать тысяч в месяц. Ну и, наконец, есть и естественные потребности...

При мысли о потребностях Елене становится скучно. Она глубоко вздыхает, складывает руки на коленях, и поднимает глаза на пассажиров, сидящих напротив. Несколько мгновений она со странным, настоящим любопытством осматривает рыжую девушку, играющую с айпэдом, молодого человека в спортивном костюме, вытянувшего ноги и изучающего носки своих кроссовок, старушку в старомодной шляпке с цветком, которая, щурясь, с беспомощным выражением на лице, читает объявления на стене вагона. Всё это кажется Елене забавным, и она чуть улыбается уголками губ. Но тут же чувствует, что улыбка получилось нервная, болезненная, и с досадой отворачивается.

– Ну а кто лучше живёт? – произносит она про себя с вызовом.

Она вспоминает двух своих подруг – Свету Конкину и Веру Федыко. С ними она знакома ещё с института, как и Елена, они провинциалки. Конкина приехала в столицу из Магнитогорска, а Федыко – из небольшого села под Липецком.

Конкина работает продавцом в салоне связи возле метро «Измайловская» и живёт с менеджером из этого же салона, Вольским, рано облысевшим, вялым тридцатипятилетним мужчиной с поношенным лицом, на котором все черты – начиная с глубоких и тёмных морщин на лбу, и кончая кончиками обветренных губ, загнуты книзу, и даже когда он улыбается, то кажется, что он объелся кислых яблок. Живут они в девятиэтажке неподалёку от метро «Водный стадион» вместе с матерью Вольского, жёлтой востроносой старухой, от которой пахнет луком и потом, и которая и дома и на улице всегда ходит в одном и том же синем джинсовом костюме с засаленными рукавами. Светлану мать Вольского ненавидит, считает авантюристкой, вкравшейся в доверие к сыну, и держится с ней надменно, как с приживалкой. Напрямую она к девушке не обращается, а когда ей надо что-нибудь узнать у неё, то спрашивает через сына. При этом имени Светланы она не произносит, словно брезгует им, и говорит о ней – «эта», «она», «твоя». Когда невестки и сына нет дома, старуха ходит по их комнате, роется в вещах, и если обнаруживает деньги, то берёт их себе. Вольскому поведение матери нравится, в её столичном снобизме он чувствует что-то очень лестное для себя самого, и если Светлана жалуется ему на старуху, он чешет затылок, с минуту смотрит в потолок, а затем произносит задумчиво и рассудительно: «Да в сущности права маман, квартира-то её...»

Вера Федыко, замужем за Сабиновым, полировщиком из автосервиса. Он давно и беспробудно пьёт, и когда напивается, лицо его становится мягким, красным и одутловатым как подушка, и на него жутко смотреть. Вера много лет пыталась отучить мужа от бутылки, ссорилась с ним, ругалась, даже уходила от него раза два, но, наконец, начала пить вместе с ним, и её лицо тоже постепенно становится похожим на подушку. При каждой новой встрече с подругой, Елена с тоской подмечает в её внешности какие-нибудь новые изменения, приближающие её к состоянию настоящей, конченной алкоголички...

Странно, но с окончания института прошло уже одиннадцать лет, а других подруг в Москве, кроме этих двух, Елена не завела. Ещё во времена учёбы к их маленькой компании, бывало, присоединялись новые девушки, но те приходили и уходили, а они с Конкиной и Федыко всё также оставались втроём, точно их связывала некая постыдная, кровавая тайна. Притом дружба у них какая-то пластиковая, ненастоящая, и наблюдая её со стороны, трудно

поверить в то, что она длится много лет. Порой Елене хочется рассказать подругам о своих бедах – о ссорах с Сошниковым, о неприятностях на работе, хочется долго, по-бабски жаловаться на судьбу, с причитаниями и слезами отпуская из сердца своё горе. Но между собой они никогда не обсуждают жизненное и насущное, а беззаботно щебечут о новых коллекциях модных кутюрье, о том, как похудела Лена Ленина, о том какая тушь лучше – «Буржуа» или «Макс Фактор»... И Елене ясно, почему это так – в жизни каждой из них столько серого и отчаянного, что было бы слишком тяжело не иметь от него никакой отдушины, не спастись иногда на некоем островке беззаботности, в фальшивом, но таком уютном мирке. Если же обыденность всё же напомнит о себе в беседе – проговорится ли Верка, что до четырёх ночи искала мужа по кабакам и больницам, или Светлана с наболевшей, воспалённой ненавистью процедит вдруг сквозь зубы, что мечтает убить свекровь, то наступает неловкое молчание, втроём они несколько мгновений испуганно переглядываются, а затем торопливо переводят разговор на другую тему. Часто Елена ловит себя на мысли о том, что если случится в её жизни настоящая, серьёзная беда, то на помощь подруг ей надеяться нечего. И откажут они не потому, что будут не в силах помочь, а по той же причине, по какой сама она живёт с нелюбимым человеком – из знакомого только приедем страха поступиться хоть малой толикой с таким трудом приобретённого комфорта. Она бы давно избавилась от этих душных фальшивых отношений, но ей до слёз страшно остаться совсем одной в этом огромном, пустом городе, так и не ставшим родным за полтора десятка лет...

Единственное её развлечение – походы по магазинам. Только это ещё будит её мысль, возбуждает нервы и заставляет чаще биться сердце, ставшее в последнее время таким холодным и тяжёлым. Все выходные напролёт она проводит в каком-нибудь крупном торговом центре – в «Золотом Вавилоне» на проспекте Мира, или в «Европейском» на Киевской. Там она забывает о привычной своей апатии, и преображается, становится раскованной, лёгкой, счастливой. Она порхает от витрины к витрине, кокетничает с продавцами, пролистывает глянце-вые каталоги, и одну за другой меряет вещи, теряясь в терпких ароматах кожи, прохладных прикосновениях шёлка, в блеске лака, таинственном и прекрасном. Вещи манят её, их свежесть и новизна всегда обещают что-то светлое, радостное, и, покупая туфли или джинсы, она каждый раз загадывает, что когда будет носить их, то у неё начнётся новая, счастливая жизнь. Зная свою неводержанность в покупках, Елена экономит на каждой мелочи, торгуется даже там, где это нельзя, и старается брать только самое необходимое. Но, разбирая вечером принесённые из магазина пакеты, она всё-таки каждый раз обнаруживает что-нибудь совершенно ей не нужное, и испытывает при этом чувство, похожее на изжогу.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.